



№ 16 1996

То были теневики, сейчас - коммерсанты. Первые уже готовились стать воспоминанием, предметом мемуаров (по крайней мере, "тениники" в строгом смысле) - что-то уже вылезало наружу, все это чувствовали. Но ни женщины, ни я не изменились. Мне по-прежнему нравится, когда со мной что-то происходит, когда я их (тебя) люблю. К тому же, ты не знаешь многих слов, таких как "вербальный", "дискурсивный" или "рефлексирующий". Ты меня спрашиваешь, зачем я употребляю в своих произведениях слова "клитор" или "влагалище", а я тебе объясняю: про эротическую традицию, эксперименты с нравственностью и с психикой - собственной, авторской и читательской и о том, что надо расширять область допустимого, дозволенного в литературе. А зачем? - спрашиваешь ты. Но откуда же я знаю.

Вместо того, чтобы отвечать, я тебе рассказываю о том, что на стенках матки у новорожденной изображено дерево жизни, как его называют, - ветвящееся, разросшееся, а потом оно постепенно исчезает, как будто стирается, отступает, и остаются, кажется, на заднике шейки, только неясные следы. Ну разве не интересно? И ты соглашаешься, что да, интересно, чтобы не обидеть меня или покаяться умнее и философичнее.

Но зачем оно там и для кого, для какого наблюдателя? совсем закрытое, ведь никто же не сможет никогда увидеть. Не рассчитывал же Он на вскрытие тела, вивисекцию. На что ты отвечаешь: ни для какого, наблюдатель здесь ни при чём. Существует же концепция, что у человека изначально есть знание об истоках мира и о рае, о райском блаженстве (надо заметить, что, кроме всего прочего, ты атеистка), а потом оно забывается. Но почему же этого нет у мужчины, или чего-нибудь подобного?

На что ты говоришь, что существует и такая концепция, что женщина ближе к изначальному, чем мужчина, и что ей больше дано. Но почему в матке, спрашиваю я, а не в лёгких или, скажем, желудке. На что ты не знаешь, что ответить. Потому что если ты отвечаешь, то и на вопрос, зачем я употребляю слово "клитор"? Ты вообще мало читала, а больше о чём-то слышала, и ты не написала ни одного стихотворения. А ещё ты не любишь Льва Толстого, о котором мы с тобой часто спорим, за то, что он мучил свою жену.

Ты считаешь, что такие люди не должны иметь семей. Ты вообще очень агрессивно относишься к художникам и философам и думаешь, что они эгоисты. А я, наоборот, очень люблю Л.Толстого, потому что страдал. Особенно мне нравится, как он подавлял в себе страсти, в смысле - с ними боролся. Мне кажется, что его прямо корчило. Мне всегда казалось смешным, когда современный человек, например христианского толка, говорит о борьбе со страстями. Потому что, какие же у нас страсти, а только страстишки. Их давлять легче, чем дать им проявиться. А вот у Толстого или других в его время (у князя Гагарина, например) они действительно страшные и очень опасные. Но, с другой стороны, мне же нравятся, когда я ощущаю.

Просто у нас с тобой нет ничего общего, я уже говорил, социально, национально. Ты еврейка, а я тихий русский антисемит. Не в политическом, конечно, смысле, розановском, а наоборот - в философском, религиозном, этическом и эстетическом. Например, я против погромов, любой дискриминации, насилия. Я также против изоляции, я за ассимиляцию. Мне бы хотелось, чтобы евреи вообще не было, чтобы сама память о них исчезла, стёрлась, отступила, вместе с типами их внешности: тёмные и рыжие, горбоносы и со вздернутыми носами.

Потому что я всегда неуменно чувствую себя в их присутствии, если их больше, чем двое. Они говорят на другом языке, я его не понимаю, а они моего. Они мне чужды и неприятны, а может, это я вызываю у них отвращение - философское, религиозное, этическое, даже эстетическое. Они шумные. От них всё время дурно пахнет, или нам так кажется. Они бьют себя по ляжкам и громко хохочут, показывая жёлтые, редкие, лошадиные зубы, как мой папа, который методист и зав. кабинетом русского языка в институте для учителей, я их боюсь. (А ты похожа на козочку, ты помнишь?) У них непропорциональные, с короткими ногами, это мне жена сказала, тела, сам бы я не заметил. (А у тебя нормальные ноги.) И у них не бывает волос цвета дыма, когда осеню жгут листья, ну какая ты еврейка? Но больше всего я ненавижу их монизм. Я даже думаю, что герои русской литературы (Базаров, Раскольников, Бол-

конский) - библейского происхождения.

Они так легко и с такой страстью верят во всё тайное, которое нельзя потрогать, почти призрачное, существующее в одном, лучшем, потому что единственном, экземпляре. А я даже не знаю, берёшь ли ты в рот. Когда ты лежишь подо мною, закинув голову, я вижу редкий разрозненный ворс в твоих ноздрях, он мне почти неприятен. Это был нееврейский поступок, когда у Христа прошли чуда, то есть явленного, определённого. Я бы хотел, чтобы ты встала передо мной на колени, расстегнула мне штаны и взяла мою душу мелкими, немного теплыми губами.

Если же еврей - атеист, то вместо бога он может поставить любую другую идею: социального устройства, научную, педагогическую или художественного произведения, которое, оказывается, можно проанализировать и понять, как мой папа, который еврей и методист, или бессознательного и лечения неврозов. И неверие Фомы потому так отличало его среди апостолов, характеризовало его, что это тоже было не по-еврейски. Но особенно я не могу им простить, что они забирают у нас женщин, да и не только им.

Евреи выходят за евреев, русские - за русских, армянки - за армян, или наоборот: армяне женятся на армянках и т.д. А что делать таким, как я, которые знают, что у современного человека не может быть бессознательного, потому что он живёт после Фрейда. А всё потому, что нам нравится, когда с нами что-то происходит. Посторонний - герой западной культуры, но начался он в России (Онегин, Печорин, Бельтov Герцена).

Запад, как и во всём остальном, только продолжает, более осознанно и последовательно, нашу традицию "лишних" людей, или - иначе "странных", как их тоже называли, т.е. странствующих, неприкаянных, меняющих состояния. Жан Жене - вор, гомосексуалист, писатель, ни то, ни другое, ни третье: Генри Миллер - немец, американец, француз или всё вместе.

Но вот ведь разница: усилия русского автора всегда направлены на то, чтобы вписать героя в структуру, исправить неблагополучие, это у них называется воскрешением, возрождением, которого никогда не происходило. Это ведь как с забвением бытия у Хайдеггера, которое только свидетельствует о бытии, является его

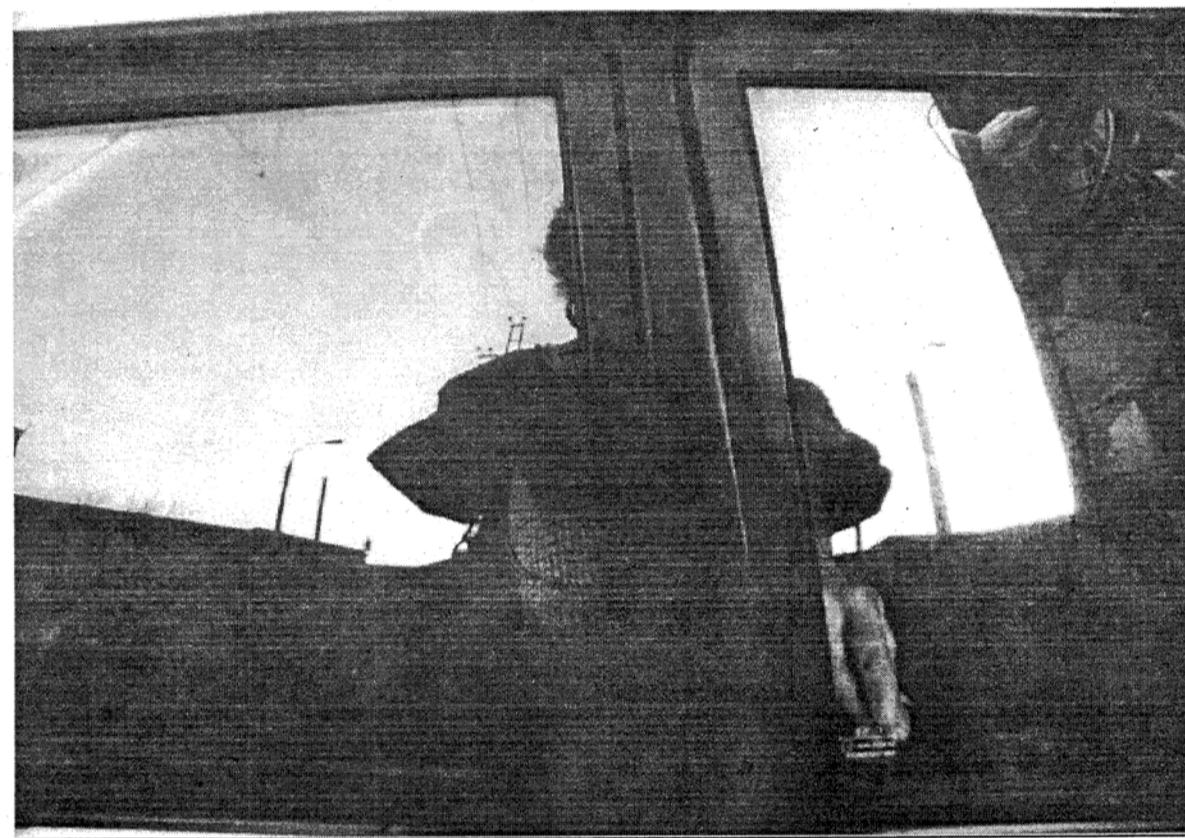
волей и воплощением. А у западного героя - наоборот: никогда не получалось до конца оставаться в стороне, на свободе.

Он всегда отнесён к какому-нибудь институту, хоть бы тех же бродяг. Институциализированный бродяга, как вам это понравится? Мне, например, нравится ощущать, когда что-то происходит, поэтому я люблю тебя. Или так: я люблю тебя, потому что люблю ощущать, как что-то происходит, например, что я ощущаю, что и является свидетельством моей искренности. А ты мне не веришь никогда. Или веришь, но думаешь (делаешь вид), что не веришь. Вот что с нами происходит во время любви к тебе.

Но так как ты этого не понимаешь, ничего не знаешь, то на твою помощь рассчитывать не приходится. Что ты скажешь "да", сделаешь первый шаг. А я не настаиваю, потому что боюсь, что моя душа откажется действовать в нужный момент, а будет виться, как тряпочка. Я бы хотел повесить тебе на шею бубенчик, чтобы ты не потерялась, приносить кофе в постель, жениться или поехать с тобой на какую-нибудь квартиру. Ты бы согласилась, если бы я уговаривал.

А так всё это очень трудно, сложно, не понятно, что делать дальше, и никаких перспектив. Ты встаёшь и идёшь к окну за сигаретами. Я внимательно слежу за твоей длинной спиной и опущенным тазом. Всё дело в том, что мне не нравятся твои губы, обнажённые ноздри и слишком выпуклые, неподвижные, немного сонные глаза, которые я так люблю. Ты даже отворачиваешься, так тебе совестно. Мой член медленно набухает, разворачивается и поднимается, как будто распускается.

Февраль 1995 г.



Сергей Осымачкин. Из серии "Разговоры ни о чём". 1995-1996.